

В губернский город N. приезжает отставной чиновник Павел Иванович Чичиков, человек, лишенный отличительных черт и всем приходящийся по нраву. Очаровав губернатора, городских чиновников и окрестных помещиков, Чичиков начинает объезжать последних с загадочной целью: он скупает мертвые души, то есть умерших недавно крепостных, которые еще не внесены в ревизскую сказку^{*1} и потому формально считаются живыми. Навестив последовательно карикатурных — каждый в своем роде — Собакевича, Манилова, Плюшкина, Коробочку и Ноздрева, Чичиков оформляет купчие и готовится довести до конца свой таинственный план, но к концу первого (и единственного завершенного) тома поэмы в городе N. сгущаются какие-то хтонические силы, разражается скандал, и Чичиков, по формулировке Набокова, «покидает город на крыльях одного из тех восхитительных лирических отступлений... которые писатель всякий раз размещает между деловыми встречами персонажа». Так заканчивается первый том поэмы, задуманной Гоголем в трех частях; третий том так и не был написан, а второй Гоголь сжег — сегодня нам доступны только его реконструкции по сохранившимся отрывкам, причем в разных редакциях, поэтому, говоря о «Мертвых душах», мы подразумеваем в общем случае только первый их том, завершенный и опубликованный автором.

В знаменитом письме к Пушкину в Михайловское от 7 октября 1835 года Гоголь просит у поэта «сюжет для комедии», чему был успешный прецедент — интрига «Ревизора» тоже выросла из анекдота, рассказанного поэтом. К этому времени, однако, у Гоголя написаны уже три главы будущей поэмы (их содержание неизвестно, поскольку автограф не сохранился) и, главное, придумано название «Мертвые души».

«Мертвые души» задумывались как сатирический плутовской роман, парад злых карикатур, — как писал Гоголь в «Авторской исповеди», «если бы кто видел те чудовища, которые выходили из-под пера моего вначале для меня самого, он бы точно содрогнулся». Во всяком случае содрогнулся Пушкин, который слушал в авторском чтении первые главы в ранней, не дошедшей до нас редакции, и воскликнул: «Боже, как грустна наша Россия!»¹ Таким образом, хотя впоследствии поэма Гоголя приобрела репутацию гневного приговора российской действительности, на самом деле мы имеем дело уже с добрыми, милыми «Мертвыми душами».

Постепенно идея Гоголя изменилась: он пришел к выводу, что «многие из гадостей не стоят злобы; лучше показать всю ничтожность их...», а главное, вместо случайных уродств решил изобразить «одни те, на которых заметней и глубже отпечатлелись истинно русские, коренные свойства наши»², показав именно национальный характер и в хорошем, и в плохом. Сатира

^{*1} Документ с результатами переписи податного населения, проводившейся в России в XVIII и первой половине XIX века. В сказках указывались имя, отчество, фамилия, возраст владельца двора и членов его семьи. Всего было проведено десять таких ревизий.

превратилась в эпос, поэму в трех частях. План ее был составлен в мае 1836 года в Санкт-Петербурге; 1 мая 1836-го там состоялась премьера «Ревизора», а уже в июне Гоголь уехал за границу, где провел с небольшими перерывами следующие 12 лет. Первую часть своего главного труда Гоголь начинает осенью 1836 года в швейцарском городе Веве, переделывает все начатое в Петербурге; отсюда он пишет Жуковскому о своем произведении: «Вся Русь явится в нем!» — и впервые называет его поэмой. Работа продолжается зимой 1836/37 года в Париже, где Гоголь узнает о гибели Пушкина — с этих пор в своем труде писатель видит нечто вроде пушкинского духовного завещания. Первые главы поэмы Гоголь читает знакомым литераторам зимой 1839/40 года, во время недолгого приезда в Россию. В начале 1841-го закончена почти полная редакция «Мертвых душ», но Гоголь продолжает вносить изменения вплоть до декабря, когда он приехал в Москву хлопотать о публикации (последующие правки, внесенные по цензурным соображениям, в современных изданиях обычно не отражены).

КАК ОНА НАПИСАНА?

Самая яркая черта Гоголя — его буйное воображение: все вещи и явления представлены в гротескных масштабах, случайная ситуация оборачивается фарсом, мимоходом оброненное слово дает побег в виде развернутого образа, из которого более экономный писатель мог бы сделать целый рассказ. «Мертвые души» во многом обязаны комическим эффектом наивному и важному рассказчику, который с невозмутимой обстоятельностью описывает

в мельчайших подробностях сущую чепуху. Пример такого приема — «удивительный в своем нарочитом, монументально величавом идиотизме разговор о колесе»³ в первой главе поэмы (этот прием, страшно смешивший его друзей, Гоголь использовал и в устных импровизациях). С этой манерой резко контрастируют лирические отступления, где Гоголь переходит к поэтической риторике, немало взявшей у святых отцов и расцвеченной фольклором. Считается, что из-за своей насыщенности язык Гоголя «непереводимее всякой другой русской прозы»⁴.

Анализируя гоголевские нелепицы и алогизмы, Михаил Бахтин использует термин «кокаланы» (*соq-à-l'âne*), буквально означающий «с петуха на осла»⁵, а в переносном значении — словесную бессмыслицу, в основе которой лежит нарушение устойчивых семантических, логических, пространственно-временных связей (пример кокалана — «в огороде бузина, а в Киеве дядька»). Элементы «стиля кокалан» — божба и проклятия, пиршественные образы, хвалебно-бранные прозвища, «непубликуемые речевые сферы». И действительно, такие простонародные выражения, как «фетюк, галантерейный, мышинный жеребенок, кувшинное рыло, бабёшка», многие современные Гоголю критики находили неудобопечатными. Оскорбляли их и сведения о том, что «бестия Кувшинников ни одной простой бабе не спустит», что «он называет это попользоваться насчет клубнички»; писатель и критик Николай Полевой сетует на «слугу Чичикова, который провонял и везде носит с собою вонючую атмосферу; на каплю, которая капает из носа мальчишки в суп; на блох, которых не вычесали у щенка... на Чичикова,

который спит нагой; на Ноздрева, который приходит в халате без рубашки; на щипанье Чичиковым волосов из носа»⁶. Все это в изобилии является на страницах «Мертвых душ» — даже в самом поэтическом пассаже о птице-тройке рассказчик восклицает: «Черт побери все!» Примерам пиршественных сцен нет числа — что обед у Собакевича, что угощение Коробочки, что завтрак у губернатора. Любопытно, что в своих суждениях о художественной природе «Мертвых душ» Полевой фактически предвосхитил теории Бахтина (хотя и оценочно-отрицательно): «Если и допустим в низший отдел искусства грубые фарсы, итальянские буффонады, эпические поэмы наизнанку (travesti), поэмы вроде “Елисея” Майкова, можно ли не пожалеть, что прекрасное дарование г-на Гоголя тратится на подобные создания!»⁷

ЧТО ПОВЛИЯЛО НА АВТОРА КНИГИ?

Творчество Гоголя поразило современников оригинальностью — никакие прямые претексты ему не приискивались ни в отечественной словесности, ни в западной, что отметил, например, Герцен: «Гоголь полностью свободен от иностранного влияния; он не знал никакой литературы, когда сделал уже себе имя»⁸. И современники, и позднейшие исследователи рассматривали «Мертвые души» как равноправный элемент мирового литературного процесса, проводя параллели с Шекспиром, Данте, Гомером; Владимир Набоков сравнивал поэму Гоголя с «Тристрамом Шенди» Лоренса Стерна, джойсовским «Улиссом» и «Портретом» Генри Джеймса. Михаил

Бахтин упоминает⁹ о «прямом и косвенном (через Стерна и французскую натуральную школу) влиянии Рабле на Гоголя», в частности усматривая в структуре первого тома «интереснейшую параллель к четвертой книге Рабле, то есть путешествию Пантагрюэля».

Дмитрий Святополк-Мирский отмечает в творчестве Гоголя влияние традиции украинского народного и кукольного театра, казачьих баллад («дум»), комических авторов — от Мольера до водевилистов 1820-х годов, романа нравов, Стерна, немецких романтиков, особенно Тика и Гофмана (под влиянием последнего Гоголь написал еще в гимназии поэму «Ганц Кюхельгартен», которая была уничтожена критикой, после чего Гоголь выкупил и сжег все доступные экземпляры), французского романтизма во главе с Виктором Гюго, Жюлем Жаненом и их общим учителем Чарльзом Мэтьюрином, «Илиады» в переводе Гнедича. Но все это, заключает исследователь, «только детали целого, столь оригинального, что этого нельзя было ожидать». Русские предшественники Гоголя — Пушкин и особенно Грибоедов (в «Мертвых душах» множество косвенных цитат из «Горя от ума», например обилие закадровых и бесполезных для сюжета персонажей, прямо заимствованные ситуации, просторечие, которое и Грибоедову, и Гоголю критики ставили в упрек).

Очевидна параллель «Мертвых душ» с «Божественной комедией» Данте, трехчастную структуру которой, по авторскому замыслу, должна была повторять его поэма. Сравнение Гоголя с Гомером после ожесточенной полемики стало общим местом уже в гоголевские времена, однако тут уместнее вспомнить не «Илиаду»,

а «Одиссею» — странствие от химеры к химере, в конце которого героя ждет, как награда, домашний очаг; своей Пенелопы у Чичикова нет, но «о бабенке, о детской» он мечтает нередко. «Одиссею» в переводе Жуковского Гоголь, по воспоминаниям знакомых, читал им вслух, восхищаясь каждой строчкой.

КАК ОНА БЫЛА ОПУБЛИКОВАНА?

Не без цензурных проволочек. Вообще, отношения Гоголя с цензурой были довольно двусмысленными — так, «Ревизора» допустил к постановке лично Николай I, на которого Гоголь и впоследствии рассчитывал в разных смыслах, даже просил (и получил) материальное вспомоществование на правах первого русского писателя. Тем не менее о «Мертвых душах» пришлось хлопотать: «Никогда, может быть, не употребил Гоголь в дело такого количества житейской опытности, сердцеведения, заискивающей ласки и притворного гнева, как в 1842 году, когда приступил к печати „Мертвых душ“»¹⁰, — вспоминал позднее критик Павел Анненков.

На заседании московского цензурного комитета 12 декабря 1841 года «Мертвые души» были поручены заботам цензора Ивана Снегирёва, который сперва нашел произведение «совершенно благонамеренным»¹¹, но затем почему-то побоялся пропустить книгу в печать самостоятельно и передал ее на рассмотрение коллегам. Тут сложности вызвало прежде всего само название, означавшее, по мнению цензоров, безбожие (ведь душа человеческая бессмертна) и осуждение крепостного

права (в действительности Гоголь никогда не имел в виду ни того ни другого). Опасались также, что афера Чичикова подаст дурной пример. Столкнувшись с запретом, Гоголь забрал рукопись из московского цензурного комитета и через Белинского послал в Петербург, попросив при этом похлопотать князя Владимира Одоевского, Вяземского и своего доброго друга Александру Смирнову-Россет. Петербургский цензор Александр Никитенко отнесся к поэме восторженно, однако счел совершенно непроходной «Повесть о капитане Копейкине»¹². Гоголь, исключительно дороживший «Повестью» и не видевший смысла печатать поэму без этого эпизода, значительно ее переделал, убрав все опасные места, и наконец получил разрешение. «Повесть о капитане Копейкине» печаталась до самой революции в цензурированной версии; из существенных цензурных правок следует упомянуть еще название, которое Никитенко изменил на «Похождения Чичикова, или Мертвые души», сместив таким образом акцент с сатиры на плутовской роман.

Первые экземпляры «Мертвых душ» вышли из типографии 21 мая 1842 года, уже через два дня Гоголь отбыл за границу¹³.

КАК ЕЕ ПРИНЯЛИ?

С практически единодушным восторгом. У Гоголя вообще была удивительно счастливая писательская судьба: ни одного другого классика так не ласкал русский читатель. С выходом первого тома «Мертвых душ» культ Гоголя окончательно утвердился в русском обществе, от Николая I до рядовых читателей и литераторов всех лагерей.

Молодой Достоевский знал «Мертвые души» наизусть. В «Дневнике писателя» он рассказывает, как «пошел... к одному из прежних товарищей; мы всю ночь проговорили с ним о “Мертвых душах” и читали их, в который раз не помню. Тогда это бывало между молодежью; сойдутся двое или трое: “А не почитать ли нам, господа, Гоголя!” — садятся и читают, и пожалуй, всю ночь». В моду вошли гоголевские словечки, молодежь стриглась «под Гоголя» и копировала его жилетки. Музыкальный критик, искусствовед Владимир Стасов вспоминал, что появление «Мертвых душ» стало событием необычайной важности для учащейся молодежи, толпой читавшей поэму вслух, чтобы не спорить об очереди: «...Мы в продолжение нескольких дней читали и перечитывали это великое, неслыханно оригинальное, несравненное, национальное и гениальное создание. Мы были все точно опьянелые от восторга и изумления. Сотни и тысячи гоголевских фраз и выражений тотчас же были всем известны наизусть и пошли в общее употребление»¹⁴.

Впрочем, по поводу гоголевских словечек и фраз мнения разнились. Бывший издатель «Московского телеграфа» Николай Полевой был оскорблен выражениями и реалиями, которые сейчас выглядят совершенно невинно: «На каждой странице книги раздаются перед вами: подлец, мошенник, бестия... все трактирные поговорки, брани, шутки, всё, чего можете наслушаться в беседах лакеев, слуг, извозчиков»; язык Гоголя, утверждал Полевой, «можно назвать собранием ошибок против логики и грамматики...»¹⁵. С ним был согласен одиозный критик Фаддей Булгарин: «Ни в одном русском сочинении нет столько безвкусыя, грязных картин

и доказательств совершенного незнания русского языка, как в этой поэме...»¹⁶ Белинский возразил на это, что хотя язык Гоголя «точно неправилен, нередко грешит против грамматики», зато «у Гоголя есть нечто такое, что заставляет не замечать небрежности его языка — есть слог», и уколол чопорного читателя, который оскорбляется в печати тем, что свойственно ему в жизни, не понимая «поэмы, основанной на пафосе действительности, как она есть»¹⁷. С подачи Белинского, литературного законодателя 1840-х годов, Гоголь был признан первым русским писателем — долгое время все свежее и талантливое, что произрастало после него в литературе, автоматически относилось критиками к гоголевской школе.

До появления «Мертвых душ» положение Гоголя в литературе было еще невинно — «ни один поэт на Руси не имел такой странной судьбы, как Гоголь: в нем не смели видеть великого писателя даже люди, знавшие наизусть его творения»¹⁸; теперь же он перешел из разряда комических писателей в статус несомненного классика.

ЧТО БЫЛО ДАЛЬШЕ?

Гоголь стал как бы прародителем всей новой литературы и яблоком раздора для литературных партий, которые не могли поделить между собой главного русского писателя. В год выхода поэмы Герцен писал в дневнике: «Толки о “Мертвых душах”»¹⁹. Славянофилы и антиславянисты разделились на партии. Славянофилы №1 говорят, что это апотеоза Руси, “Илиада” наша, и хвалят, след., другие бесятся, говорят, что тут анафема Руси и за то ругают.

Обратно тоже раздвоились антиславянисты. Велико достоинство художественного произведения, когда оно может ускользать от всякого одностороннего взгляда». Сергей Аксаков, оставивший о Гоголе обширные и чрезвычайно ценные мемуары и побудивший к тому же других сразу после смерти писателя, преувеличивает близость Гоголя к славянофилам и умалчивает о взаимоотношениях Гоголя с Белинским и его лагерем (впрочем, Гоголь и сам старался не ставить Аксакова в известность об этих отношениях). Белинский не отстаивал: «Влияние Гоголя на русскую литературу было огромно. Не только все молодые таланты бросились на указанный им путь, но и некоторые писатели, уже приобретшие известность, пошли по этому же пути, оставивши свой прежний. Отсюда появление школы, которую противники ее думали унижить названием натуральной»²⁰. Достоевский, Григорович, Гончаров, Некрасов, Салтыков-Щедрин — трудно вспомнить, на кого из русских писателей второй половины XIX века Гоголь не повлиял.

Вслед за потомком эфипов Пушкиным, выходец из Малороссии Гоголь надолго стал главным русским писателем и пророком. Художник Александр Иванов изобразил Гоголя на знаменитом полотне «Явление Христа народу» в виде фигуры, стоящей ближе всех к Иисусу. Уже при жизни Гоголя и вскоре после его смерти появились немецкий, чешский, английский, французский переводы поэмы.

В 1920–1930-е годы «Мертвые души» адаптировал Михаил Булгаков. В его фельетоне «Похождения Чичикова» герои поэмы Гоголя оказывались в России 1920-х годов и Чичиков делал головокружительную карьеру, становясь миллиардером. В начале

1930-х пьеса Булгакова «Мертвые души» с успехом шла во МХАТе; был им создан и киносценарий, никем, правда, не использованный. Гоголевская поэма отозвалась в литературе и более косвенно: скажем, стихотворение Есенина «Не жалею, не зову, не плачу» (1921) написано под впечатлением от лирического вступления к шестой — плюшкинской — главе «Мертвых душ», в чем признавался сам поэт (на это намекают строки «О, моя утраченная свежесть» и «Я теперь скупее стал в желаньях»).

Имена некоторых гоголевских помещиков стали нарицательными: в «маниловском прожектерстве» обвинял народников Ленин, Маяковский озаглавил стихотворение о жадном обывателе «Плюшкин». Пассаж о птице-тройке школьники десятилетиями учили наизусть.

Экранизирована поэма Гоголя была впервые еще в 1909 году в ателье Ханжонкова; в 1960 году фильм-спектакль «Мертвые души» по пьесе Булгакова снял Леонид Трауберг; в 1984 году пятисерийный фильм с Александром Калягиным в главной роли снял Михаил Швейцер. Из недавних интерпретаций можно вспомнить «Дело о “Мертвых душах”» режиссера Павла Лунгина и громкую театральную постановку Кирилла Серебренникова в «Гоголь-центре» в 2013 году.

БЫЛА ЛИ АФЕРА ЧИЧИКОВА ОСУЩЕСТВИМА НА ПРАКТИКЕ?

Каким бы фантастическим ни казалось предприятие с «мертвыми душами», оно было не только осуществимо, но формально не нарушало законов и даже имело прецеденты.

Умершие крепостные крестьяне, числящиеся за помещиком по ревизской сказке, для государства были живыми до следующей переписи и облагались подушным налогом. Расчет Чичикова был в том, что помещики будут только рады избавиться от уплаты лишнего налога и уступят ему за гроши мертвых (но на бумаге живых) крестьян, которых он затем сможет заложить. Единственная заминка состояла в том, что крестьян нельзя было ни купить, не заложить без земли (это, возможно, анахронизм: такая практика была запрещена только в 1841 году, а действие первого тома «Мертвых душ» разворачивается десятилетием раньше), но Чичиков разрешил ее легко: «Да ведь я куплю на вывод, на вывод; теперь земли в Таврической и Херсонской губерниях отдаются даром, только заселяй».

Сюжет поэмы, подаренный Гоголю Пушкиным (как пишет Гоголь в «Авторской исповеди»), был взят из реальной жизни. Литературовед Петр Бартенев в примечании к воспоминаниям Владимира Соллогуба пишет: «В Москве Пушкин был с одним приятелем на бегу. Там был также некто П. (старинный франт). Указывая на него Пушкину, приятель рассказал про него, как он скупил себе мертвых душ, заложил их и получил большой барыш. Пушкину это очень понравилось. “Из этого можно было бы сделать роман”, — сказал он между прочим. Это было еще до 1828 года»²¹.

На это мог наложиться и другой сюжет, заинтересовавший Пушкина во время его пребывания в Кишиневе. В Бессарабию в начале XIX века массово бежали



Петр Боклевский. Чичиков. Иллюстрация к «Мертвым душам». 1895 год

крестьяне. Чтобы скрыться от полиции, беглые крепостные часто принимали имена умерших. Особенно славился такой практикой город Бендеры, чье население называли «бессмертным обществом»: в течение многих лет там не было зарегистрировано ни единого смертного случая. Как показало расследование, в Бендерах было принято за правило: умерших «из общества не исключать», а их имена отдавать новоприбывшим беглым крестьянам.

Вообще мошенничества с ревизскими списками были нередки. Дальняя родственница Гоголя Мария Григорьевна Анисимо-Яновская была уверена, что идею поэмы подал писателю ее собственный дядя Харлампий Пивинский. Имея пятых детей и при этом всего 200 десятин^{*1}

^{*1} Десятина — единица земельной площади, равна 1,09 гектара. 200 десятин составляют 218 гектаров.

земли и 30 душ крестьян, помещик сводил концы с концами благодаря винокурне. Вдруг прошел слух, что курить вино разрешено будет лишь помещикам, имеющим не менее 50 душ. Мелкопоместные дворяне загоревали, а Харлампий Петрович «поехал в Полтаву, да и внес за своих умерших крестьян оброк, будто за живых. А так как своих, да и с мертвыми, далеко до пятидесяти не хватало, то набрал он в бричку горилки, да и поехал по соседям и накопил у них за эту горилку мертвых душ, записал их себе и, сделавшись по бумагам владельцем пятидесяти душ, до самой смерти курил вино и дал этим тему Гоголю, который бывал в Федунках, имении Пивинского, в 17 верстах от Яновщины*¹; кроме того, и вся Миргородчина знала про мертвые души Пивинского»²².

Другой местный анекдот вспоминает гимназический однокашник Гоголя: «В Нежине... был некто К-ачь, серб; огромного роста, очень красивый, с длинейшими усами, страшный землепроходец, — где-то купил он землю, на которой находится — сказано в купчей крепости — 650 душ; количество земли не означено, но границы указаны определительно. ...Что же оказалось? Земля эта была — запущенное кладбище. Этот самый случай рассказывал Гоголю за границей князь Н. Г. Репнин»²³.

Вероятно, рассказ этот Гоголь выслушал в ответ на просьбу снабжать его сведениями о разных «казусах», «могущих случиться при покупке мертвых душ», с которой он донимал всех своих родственников и знакомых, — возможно, именно эта история отозвалась во втором томе поэмы в реплике генерала Бетрищева:

«Чтоб отдать тебе мертвых душ? Да за такую выдумку я тебе их с землей, с жильем! Возьми себе все кладбище!»

Несмотря на тщательные изыскания, проведенные писателем, в плане Чичикова остались неувязки, на которые указал Гоголю после выхода поэмы Сергей Аксаков: «Я очень браню себя, что одно просмотрел, а на другом мало настаивал: крестьяне на вывод продаются с семействами, а Чичиков отказался от женского пола; без доверенности, выданной в присутственном месте, нельзя продать чужих крестьян, да и председатель не может быть в одно и то же время и доверенным лицом, и присутствующим по этому делу»²⁴. Женщин и детей недальновидный Чичиков не покупал, видимо, просто потому, что их номинальная цена была ниже, чем за мужиков.

ПОЧЕМУ «МЕРТВЫЕ ДУШИ» — ПОЭМА?

Назвав свое главное произведение поэмой, Гоголь прежде всего имел в виду, что это не повесть и не роман в понимании его времени. Такое необычное жанровое определение проясняют наброски Гоголя к неосуществленной «Учебной книге словесности для русского юношества», где Гоголь, разбирая разные роды литературы, «величайшим, полнейшим, огромнейшим и многостороннейшим из всех созданий»²⁵ называет эпопею, способную охватить целую историческую эпоху, жизнь нации или даже всего человечества, — в пример такой эпопеи Гоголь приводит

*1 Другое название имения Гоголей — Васильевка.

РЕВИЗСКАЯ СКАЗКА					РЕВИЗСКАЯ СКАЗКА				
1859 года 6 июля в д. Новое Катаево Оренбургской губернии Владельца деревни 20-е казначейское Казанской 6-й части Казанской губернии.					1859 года 6 июля в д. Новое Катаево Оренбургской губернии Владельца деревни 20-е казначейское Казанской 6-й части Казанской губернии.				
Мужской полъ.		Объясненъ владельцемъ дереви и по списку дереви.	Въ томъ числѣ и иностранцевъ.	Въ томъ числѣ и иностранцевъ.	Женский полъ.		Объясненъ владельцемъ дереви и по списку дереви.	Въ томъ числѣ и иностранцевъ.	Въ томъ числѣ и иностранцевъ.
Имя.	Вѣкъ.	Имя.	Вѣкъ.	Имя.	Имя.	Вѣкъ.	Имя.	Вѣкъ.	Имя.
Александръ Павловичъ Степановъ	—	—	—	—	Александръ Павловичъ Степановъ	—	—	—	—
Александръ Павловичъ Степановъ	9.	—	18.	—	Александръ Павловичъ Степановъ	—	—	—	—
Александръ Павловичъ Степановъ	авторъ	—	2.	—	Александръ Павловичъ Степановъ	—	—	—	—
Александръ Павловичъ Степановъ	—	—	—	—	Александръ Павловичъ Степановъ	—	—	—	—
Александръ Павловичъ Степановъ	40.	—	49.	—	Александръ Павловичъ Степановъ	—	—	—	—
Александръ Павловичъ Степановъ	18 1/2.	—	23 1/2.	—	Александръ Павловичъ Степановъ	—	—	—	—
Александръ Павловичъ Степановъ	13.	—	22.	—	Александръ Павловичъ Степановъ	—	—	—	—
Александръ Павловичъ Степановъ	2.	—	11.	—	Александръ Павловичъ Степановъ	—	—	—	—
Александръ Павловичъ Степановъ	1.	—	10.	—	Александръ Павловичъ Степановъ	—	—	—	—
Александръ Павловичъ Степановъ	авторъ	—	4.	—	Александръ Павловичъ Степановъ	—	—	—	—
Александръ Павловичъ Степановъ	50.	—	59.	—	Александръ Павловичъ Степановъ	—	—	—	—
Александръ Павловичъ Степановъ	20.	—	29.	—	Александръ Павловичъ Степановъ	—	—	—	—
Александръ Павловичъ Степановъ	15.	—	24.	—	Александръ Павловичъ Степановъ	—	—	—	—
Итого мужского пола на село 18					Итого женского пола на село 11				

Ревизская сказка 1859 года по деревне Новое Катаево Оренбургской губернии

«Илиаду» и «Одиссею», любимые им в переводах Гнедича и Жуковского соответственно. В то же время роман, как мы интуитивно назвали бы «Мертвые души» сегодня, «есть сочинение слишком условленное», в нем главное — интрига: все события в нем должны непосредственно относиться к судьбе главного героя, персонажей романа автор не может «передвигать быстро и во множестве, в виде пролетающих мимо явлений»; роман «не берет всю жизнь, но замечательное происшествие в жизни» — а ведь цель Гоголя была именно в том, чтобы создать своего рода русский космос.

Русским Гомером немедленно объявил Гоголя в печати Константин Аксаков, вызвав насмешки Белинского, в действительности не совсем справедливые. Многие приемы Гоголя, смутившие критиков,

становятся понятны именно в гомеровском контексте: например, лирическое отступление, ради которого рассказчик бросает Чичикова на дороге, чтобы так же внезапно к нему вернуться, или развернутые сравнения, пародирующие — по выражению Набокова — ветвистые параллели Гомера. Господ в черных фраках на вечеринке у губернатора, снующих вокруг дам, Гоголь сравнивает с роем мух — и из этого сравнения вырастает целая живая картина: портрет старой ключницы, которая колет сахар летним днем. Точно так же, сравнив лицо Собакевича с тыквой-горлянкой, Гоголь вспоминает, что из таких тыкв делают балалайки — и перед нами из ниоткуда вырастает образ балалаечника, «мигача и щеголя, и подмигивающего и посвистывающего на белогрудых и белошейных девиц» и решительно

никакой роли не играющего в сюжете поэмы.

В ту же эпическую копилку — внезапные и неуместные перечисления не относящихся к действию имен и деталей: Чичиков, желая развлечь губернаторскую дочку, рассказывает ей приятные вещи, которые «уже случалось ему произносить в подобных случаях в разных местах, именно: в Симбирской губернии у Софрона Ивановича Беспечного, где были тогда дочь его Аделаида Софроновна с тремя золовками: Марьей Гавриловной, Александрой Гавриловной и Адельгейдой Гавриловной; у Федора Федоровича Перекроева в Рязанской губернии; у Фрола Васильевича Победоносного в Пензенской губернии и у брата его Петра Васильевича, где были свояченица его Катерина Михайловна и внучатные сестры ее Роза Федоровна и Эмилия Федоровна; в Вятской губернии у Петра Варсонофьевича, где была сестра невестки его Пелагея Егоровна с племянницей Софьей Ростиславной и двумя сводными сестрами — Софией Александровной и Маклатурой Александровной» — чем не гомеровский список кораблей.

Помимо этого, жанровое определение «Мертвых душ» отсылает к произведению Данте, которое называется «Божественной комедией», но представляет собой поэму. Трехчастную структуру «Божественной комедии», предположительно, должны были повторить «Мертвые души», но закончен оказался только «Ад».

ПОЧЕМУ ЧИЧИКОВА ПРИНИМАЮТ ЗА НАПОЛЕОНА?

Сходство Чичикова с Наполеоном встречено обсуждают чиновники города NN, обнаружив, что обаятельнейший Павел Иванович оказался каким-то зловещим проходимцем: «...вот теперь они, может быть, и выпустили его с острова Елены, и вот он теперь и пробирается в Россию будто бы Чичиков». Такое подозрение — наряду с делателем фальшивых ассигнаций, чиновником генерал-губернаторской канцелярии (то есть фактически ревизором), благородным разбойником «вроде Ринальда Ринальдина»^{*1} — выглядит обычным гоголевским абсурдизмом, однако в поэме оно возникло не случайно.

Еще и в «Старосветских помещиках» некто «рассказывал, что француз тайно согласился с англичанином выпустить опять на Россию Бонапарта». Подобные разговоры могли подпитываться слухами о «ста днях», то есть о победе Наполеона с острова Эльба и его вторичном кратком правлении во Франции в 1815 году. Это, кстати, единственное место в поэме, где уточняется время действия «Мертвых душ»: «Впрочем, нужно помнить, что все это происходило вскоре после достославного изгнания французов. В это время все наши помещики, чиновники, купцы, сидельцы и всякий грамотный и даже неграмотный народ сделались, по крайней мере на целые восемь лет, заклятыми политиками». Таким образом, Чичиков путешествует по русской глубинке в начале 1820-х годов (по летам он старше

^{*1} Герой-разбойник из романа Кристиана Августа Вульпиуса «Ринальдо Ринальдини», вышедшего в 1797 году.

и Онегина, и Печорина), а точнее, вероятно, в 1820 или 1821 году, поскольку Наполеон умер 5 мая 1821 года, после чего возможность подозревать его в Чичикове естественным образом пропала.

К приметам времени относятся и некоторые косвенные признаки вроде любимой почтмейстером «Ланкастеровой школы взаимного обучения», которую Грибоедов упоминает в «Горе от ума» как характерное увлечение декабристского круга.

Бонапарт, внезапно объявившийся инкогнито в заштатном русском городе, — распространенный фольклорный мотив времен Наполеоновских войн. Петр Вяземский приводит в «Старой записной книжке» анекдот об Алексее Михайловиче Пушкине (троюродном брате поэта и большом остроуслове), в войну 1806–1807 годов состоявшем по милиционной службе при князе Юрии Долгоруком: «На почтовой станции одной из отдаленных губерний заметил он в комнате смотрителя портрет Наполеона, приклеенный к стене. “Зачем держишь ты у себя этого мерзавца?” — “А вот затем, Ваше превосходительство, — отвечает он, — что, если неравно, Бонапарт под чужим именем или с фальшивой подорожной приедет на мою станцию, я тотчас по портрету признаю его, голубчика, схвачу, свяжу, да и представлю начальству”, — “А, это дело другое!” — сказал Пушкин».

А МОЖЕТ БЫТЬ, ЧИЧИКОВ — ЧЕРТ?

«Чорта называю прямо чортом, не даю ему вовсе великолепного костюма à la Байрон и знаю, что он ходит во фраке»²⁶, — писал Гоголь Сергею Аксакову из Франкфурта



Петр Боклевский. Манилов. Иллюстрация к «Мертвым душам». 1895 год

в 1844 году. Эту мысль развил в статье «Гоголь и черт» Дмитрий Мережковский: «Главная сила дьявола — умение казаться не тем, что он есть. <...> Гоголь первый увидел черта без маски, увидел подлинное лицо его, страшное не своей необычностью, а обыкновенностью, пошлостью; первый понял, что лицо черта есть не далекое, чуждое, странное, фантастическое, а самое близкое, знакомое, вообще реальное “человеческое...” ... почти наше собственное лицо в те минуты, когда мы не смеем быть сами собою и соглашаемся быть “как все”»²⁷.

В этом свете искры на брусничном фраке Чичикова блестят зловеще (Чичиков, как мы помним, вообще в одежде держался «коричневых и красноватых цветов с искрою»; во втором томе купец продает ему сукно оттенка «наваринского дыму с пламенем»).

Павел Иванович лишен отличительных черт: он «не красавец, но и не дурной наружности, ни слишком толст, ни слишком тонок; нельзя сказать, чтобы стар, однако ж и не так, чтобы слишком молод». И при этом, как настоящий искуситель, очаровывает всех, с каждым говоря на его языке: с Маниловым он сентиментален, с Собакевичем деловит, с Коробочкой попросту груб. Умеет поддержать любой разговор: «Шла ли речь о лошадином заводе, он говорил и о лошадином заводе... трактовали ли касательно следствия, произведенного казенною палатою, — он показал, что ему небезызвестны и судейские проделки; было ли рассуждение о билиартной игре — и в билиартной игре не давал он промаха; говорили ли о добродетели, и о добродетели рассуждал он очень хорошо, даже со слезами на глазах». Чичиков покупает человеческие души не только в деловом смысле, но и в переносном: для каждого он становится зеркалом, чем и подкупает.

В лирическом отступлении автор прямо спрашивает читателя: «А кто из вас... в минуты уединенных бесед с самим собой углубит во внутрь собственной души сей тяжелый запрос: “А нет ли и во мне какой-нибудь части Чичикова?” Да, как бы не так!» — тогда как в соседе всякий сразу же Чичикова узнать готов.

И смотрясь в это зеркало, бледнеет инспектор врачебной управы, подумавший, что под мертвыми душами разумеются больные, умершие в лазаретах, потому что он не принял нужных мер; бледнеет председатель, выступивший в сделке с Плюшкиным поверенным вопреки закону; бледнеют чиновники,

покрывшие недавнее убийство купцов: «Все вдруг отыскали в себе такие грехи, каких даже не было».

Сам Чичиков непрестанно любит себя на себя в зеркало, треплет себя по подбородку и одобрительно комментирует: «Ах ты, мордашка эдакой!» — но читатель так и не встретит описания его лица, за исключением апофатического, хотя прочие герои поэмы описаны очень подробно. Он как будто не отражается в зеркалах — как нечисть в народных поверьях. В фигуре Чичикова сконцентрирована та знаменитая гоголевская чертовщина, на которой построены «Вечера на хуторе близ Диканьки» и которая в «Мертвых душах» присутствует хотя и не так явно, но несомненно. Михаил Бахтин обнаруживает в основе «Мертвых душ» «формы веселого



Петр Боклевский. Коробочка. Иллюстрация к «Мертвым душам». 1895 год

(карнавального) хождения по преисподней, по стране смерти. <...> Недаром, конечно, загробный момент присутствует в самом замысле и заголовке гоголевского романа (“Мертвые души”). Мир “Мертвых душ” — мир веселой преисподней. <...> Найдем мы в нем и отребье, и барахло карнавального “ада”, и целый ряд образов, являющихся реализацией бранных метафор»²⁸.

В этом контексте Чичиков — карнавальный, балаганный чертик, ничтожный, комичный и противопоставленный возвышенному романтическому злу, часто встречающемуся в современной Гоголю литературе («дух отрицанья, дух сомненья» — пушкинский демон — является у Гоголя в образе во всех отношениях приятной дамы, которая «была отчасти материалистка, склонная к отрицанию и сомнению, и отвергала весьма многое в жизни»).

Этот жизнерадостный демонизм, как отмечает²⁹ исследовательница Елена Смирнова, сгущается к концу первого тома в картине «взбунтованного» города, где из всех углов полезла встревоженная Чичиковым нечисть: «...и все, что ни есть, поднялось. Как вихорь взметнулся дотоле, казалось, дремавший город! Вылезли из нор все тюрюки и байбаки... <...> Показался какой-то Сысой Пафнутьевич и Макдональд Карлович, о которых и не слышно было никогда; в гостиных заторчал какой-то длинный, длинный с простреленною рукою, такого высокого роста, какого даже и не видано было. На улицах показались крытые дрожки, неведомые линейки, дребезжалки, колесосвистки — и заварилась каша».

ПОЧЕМУ РАССКАЗЧИК В «МЕРТВЫХ ДУШАХ» ТАК БОИТСЯ ДАМ?

Стоит рассказчику коснуться в своих рассуждениях дам, на него нападает ужас: «Дамы города N. были... нет, никаким образом не могу; чувствуется точно робость. В дамах города N. больше всего замечательно было то... Даже странно, совсем не подымается перо, точно будто свинец какой-нибудь сидит в нем».

Уверения эти не следует принимать за чистую монету — ведь тут же мы находим такое, например, смелое описание:

Все было у них придумано и предусмотрено с необыкновенною осмотрительностью; шея, плечи были открыты именно настолько, насколько нужно, и никак не дальше; каждая обнажила свои владения до тех пор, пока чувствовала, по собственному убеждению, что они способны погубить человека; остальное все было припрятано с необыкновенным вкусом: или какой-нибудь легонький галстучек из ленты или шарф легче пирожного, известного под именем «поцелуя», эфирно обнимал и обвивал шею, или выпущены были из-за плеч, из-под платья, маленькие зубчатые стенки из тонкого батиста, известные под именем «скромностей». Эти «скромности» скрывали наперед и сзади то, что уже не могло нанести гибели человеку, а между тем заставляли подозревать, что там-то именно и была самая погибель.

Тем не менее опасения у рассказчика есть, и не беспочвенные. Елена Смирнова заметила, что разговор «дамы приятной во всех

отношениях» и «дамы просто приятной» в «Мертвых душах» близко к тексту повторяет щебет княжон с Натальей Дмитриевной Горич в третьем действии «Горя от ума» («1-я княжна: Какой фасон прекрасный! 2-я княжна: Какие складочки! 1-я княжна: Обшито бахромой. *Наталья Дмитриевна*: Нет, если б видели мой тюрлюрю атласный...» — и т. п.) и играет ту же конструктивную роль в действии³⁰.

В обоих случаях от обсуждения мод, «глазков и лапок» дамы переходят непосредственно к сплетням и, состав «общим бунтом» (у Грибоедова) или направившись «каждая в свою сторону бунтовать город» (у Гоголя), запускают слух, разрушивший жизнь главному герою: в одном случае о сумасшествии, в другом — о злокозненном плане увоза губернаторской дочки. В дамах города N. Гоголь отчасти изобразил матриархальный террор фамусовской Москвы.

Яркое исключение — губернаторская дочка. Это вообще единственный персонаж в первом томе поэмы, которым откровенно любитесь рассказчик — ее личиком, похожим на свеженькое яичко, и тоненькими ушками, рдеющими теплым солнечным светом. Необыкновенное действие производит она на Чичикова: впервые он растерян, пленен, забывает о наживе и необходимости всем угождать и, «обратившись в поэта», рассуждает, что твой Руссо: «Она теперь как дитя, все в ней просто: она скажет, что ей вздумается, засмеется, где захочет засмеяться».

Этот светлый и совершенно безмолвный женский образ должен был доводиться во втором томе «Мертвых душ» в положительном идеале — Улиньке. Отношение Гоголя к женщинам мы знаем по его «Выбранным местам из переписки с друзьями», где он опубликовал под заглавием

«Женщина в свете» вариации на свои реальные письма к Александре Смирновой-Россет, которую часто называют «утаенной любовью» Гоголя (во всю жизнь не замеченного в любовных связях). Идеальная женщина, выработанная Гоголем с юности под влиянием немецких романтиков, бесплотна, почти безмолвна и явно бездеятельна — она «оживотворяет» общество, зараженное «нравственной усталостью», одним своим присутствием и своей красотой, которая недаром поражает даже самые очерствевшие души: «Если уже один бессмысленный каприз красавицы бывал причиной переворотов всемирных и заставлял делать глупости наиумнейших людей, что же было бы тогда, если бы этот каприз был осмыслен и направлен к добру?» (Как мы видим, женская власть и здесь амбивалентна: так и из губернаторской дочки «может быть чудо, а может выйти и дрянь».)

Отвечая на вопрос, «что делать молодой, образованной, красивой, состоятельной, нравственной и все еще не довольной своей светской бесполезностью женщине», замечает Абрам Терц, Гоголь «не зовет ее ни резать лягушек, ни упразднять корсет, ни даже плодить детей, ни воздерживаться от деторождения». «Гоголь ничего не требует от нее, кроме того, что она уже имеет как женщина, — ни нравочений, ни общественной деятельности. Ее благая задача — быть собою, являя всем в назидание свою красоту»³¹. Понятно, почему «Женщину в свете» высмеивает вивисектор лягушек — тургеневский Базаров, поколебавшийся в своем нигилизме под влиянием любви: «...я препакостно себя чувствую, точно начитался писем Гоголя к калужской губернаторше» (женой калужского губернатора была как раз Александра Смирнова).

Губернаторская дочка, которая «только одна белела и выходила прозрачною и светлою из мутной и непрозрачной толпы», не зря единственный светлый персонаж поэмы: она — реинкарнация Беатриче, которая должна вывести героя из дантовского ада первого тома, и преобразование это внушает автору благоговейный страх.

КТО НА САМОМ ДЕЛЕ ИМЕЕТСЯ В ВИДУ ПОД МЕРТВЫМИ ДУШАМИ?

Несмотря на то что это словосочетание имеет прямое значение — умершие крепостные, которых именовали «душами» (так же как табун лошадей считают по «головам»), в романе ясно считывается и переносный смысл: люди, мертвые в духовном смысле. Анонсируя будущих положительных героев своей поэмы — «мужа, одаренного божескими доблестями, или чудную русскую девицу, какой не сыскать нигде в мире, со всей дивной красотой женской души», автор добавляет: «Мертвыми покажутся пред ними все добродетельные люди других племен, как мертва книга пред живым словом!» Тем не менее современники склонны были противопоставлять этим живым, русским и народным идеалам не иноземцев, а чиновников и помещиков, считывая это как социально-политическую сатиру.

Анекдотическое обсуждение поэмы в цензурном комитете Гоголь описывает в письме Плетневу в 1842 году: «Как только занимавший место президента Голохвастов услышал название «Мертвые души», закричал голосом древнего римлянина: «Нет, этого я никогда не позволю: душа бывает

бессмертна; мертвой души не может быть, автор вооружается против бессмертья». В силу наконец мог взять в толк умный президент, что дело идет об ревижских душах. Как только взял он в толк... произошла еще большая кутерьма. «Нет, — закричал председатель и за ним половина цензоров, — этого и подавно нельзя позволить, хотя бы в рукописи ничего не было, а стояло только одно слово: ревижская душа, — уж этого нельзя позволить, это значит против крепостного права».

Несколько ограниченную трактовку Голохвастова, надо заметить, разделяли многие поклонники Гоголя. Более проникательным оказался Герцен, увидевший в поэме не столько социальные карикатуры, сколько мрачное прозрение о человеческой душе: «Это заглавие само носит в себе что-то наводящее ужас. И иначе он не мог назвать; не ревизские — мертвые души, а все эти Ноздревы, Маниловы и tutti quanti — вот мертвые души, и мы их встречаем на каждом шагу. <...> Не все ли мы после юности, так или иначе, ведем одну из жизней гоголевских героев?» Герцен предполагает, что Ленский в «Евгении Онегине» превратился бы с годами в Манилова, не «расстреляй» его автор вовремя, и сокрушается, что Чичиков — «один деятельный человек... и тот ограниченный плут» не встретил на своем пути «нравственного помещика добросердца, стародума» — именно это должно было произойти, по гоголевскому замыслу, во втором томе «Мертвых душ».

Неудачная судьба второго тома, который Гоголь вымучивал десять лет и дважды сжег, отчасти, возможно, объясняется тем, что Гоголь не смог найти удовлетворительные «живые души» в той самой

действительности, уродливые стороны которой он показал в первом томе (где он описывает своих помещиков на самом деле не без симпатии). Собакевичу, Манилову и Ноздреву он противопоставляет не русский народ, как принято было считать в советском литературоведении, а неких эпических или сказочных героев. Самые поэтические описания русских мужиков в поэме относятся к крестьянам Собакевича, которых тот расписывает как живых, чтобы набить цену (а вслед за ним в фантазии о русской удали пускается и Чичиков): «Да, конечно, мертвые», — сказал Собакевич, как бы одумавшись и припомнив, что они в самом деле были уже мертвые, а потом прибавил: «впрочем, и то сказать, что из этих людей, которые числятся теперь живущими? Что это за люди? мухи, а не люди».

ЗАЧЕМ В ПОЭМЕ ГОГОЛЯ СТОЛЬКО РАЗНОЙ ЕДЫ?

Прежде всего Гоголь очень сам любил поесть и попотчевать других.

Сергей Аксаков вспоминает, например, с каким артистическим упоением Гоголь собственноручно готовил друзьям макароны: «Стоя на ногах перед миской, он засучил обшлага и с торопливостью, и в то же время с аккуратностью, положил сначала множество масла и двумя соусными ложками принялся мешать макароны, потом положил соли, потом перцу и, наконец, сыр и продолжал долго мешать.

Нельзя было без смеха и удивления смотреть на Гоголя». Другой мемуарист, Михаил Максимович, вспоминает: «На станциях он покупал молоко, снимал сливки и очень искусно делал из них масло с помощью деревянной ложки. В этом занятии он находил столько же удовольствия, как и в собирании цветов».

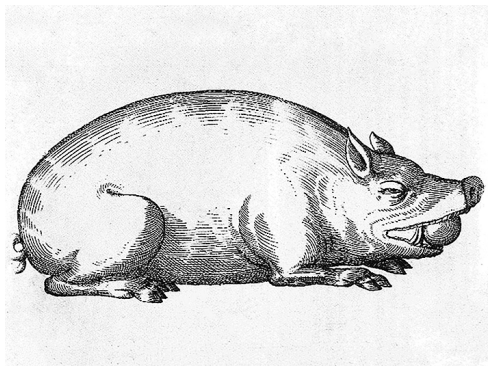
Михаил Бахтин, анализируя раблезианскую природу творчества Гоголя, замечает по поводу «Вечеров на хуторе близ Диканьки»: «Еда, питье и половая жизнь в этих рассказах носят праздничный, карнавально-масленичный характер». Намек на этот фольклорный пласт можно усмотреть и в пиршественных сценах «Мертвых душ». Коробочка, желая задобрить Чичикова, ставит на стол разные пирожки и припеки, из которых Чичиков уделяет главное внимание блинам, макая их сразу по три в растопленное масло и нахваливая. Блинами на Масленицу задабривают колядующих, олицетворяющих нечистую силу, а Чичиков, приехавший «Бог знает откуда, да еще и в ночное время» и скупающий покойников, в глазах простодушной «матушки-помещицы» смахивает на нечисть.

Еда служит для характеристики помещиков, так же как их жены, деревни и обстановка, причем часто именно за едой в гоголевских карикатурах проступают симпатичные человеческие черты. Потчует Чичикова «грибками, пирожками, скородумками»^{*1}, шанишками^{*2}, пряглами^{*3}, блинами, лепешками со всякими припеками: припекой с лучком, припекой с маком,

^{*1} Яичница-глазунья, испеченная вместе с хлебом и ветчиной.

^{*2} Уменьшительная форма слова «шаньги» — круглые пирожки, традиционное блюдо русской кухни. В записной книжке Гоголя — «род ватрушки, немного меньше». Впрочем, шаньги, в отличие от ватрушек, не делают сладкими.

^{*3} «Пышки, оладьи». (Из записной книжки Н. В. Гоголя.)



Жареный поросенок. Гравюра XIX века

припекой с творогом, припекой со сняточками^{*1}», Коробочка напоминает, безусловно, милую автору Пульхерию Ивановну из «Старосветских помещиков» с ее коржиками с салом, солеными рыжиками, разными сушеными рыбками, варениками с ягодами и пирожками — с маком, с сыром или с капустой и гречневой кашей («это те, которые Афанасий Иванович очень любит»). Да и вообще она хорошая хозяйка, заботится о крестьянах, ночному подозрительному гостю радушно стелит перины и предлагает почесать пятки.

Собакевич, который в один присест уминает бараний бок или целого осетра, зато лягушку или устрицу (еду «немцев да французов») в рот не возьмет, «хоть сахаром облепи», напоминает в этот момент былинного русского богатыря вроде

Добрыни Никитича, выпивавшего разом «чару зелена вина в полтора ведра», — недаром его покойный батюшка один на медведя хаживал; русский медведь — совсем не пейоративное определение в гоголевском мире.

Манилов, выстроивший себе «храм уединенного размышления» и говорящий кучеру «Вы», предлагает Чичикову «просто, по русскому обычаю, щи, но от чистого сердца» — атрибут сельской идиллии среди счастливых поселян. Маниловка и ее обитатели — пародия на литературу сентиментализма. В «Выбранных местах из переписки с друзьями» Гоголь пишет: «Подражатели Карамзина послужили жалкой карикатурой на него самого и довели как слог, так и мысли до сахарной приторности», — Манилов, как мы помним, был не лишен приятности, однако «в эту приятность, казалось, чересчур было передано сахару». Обед в Маниловке, против обыновения, не описан подробно — зато мы знаем, что Манилов с супругой то и дело приносили друг другу «или кусочек яблочка, или конфетку, или орешек и говорил трогательно-нежным голосом, выражавшим совершенную любовь: «Разинь, душенька, свой ротик, я тебе положу этот кусочек», тем самым показывая хоть и гротескный, но единственный пример супружеской любви во всей поэме.

Только от Ноздрева Чичиков уезжает голодным — блюда у него пригорелые или недоваренные, сделанные поваром из чего попало: «...стоял ли возле него перец — он сыпал перец, капуста ли попала — совал капусту, пичкал молоко, ветчину, горох, словом, катать-валяй...»; зато Ноздрев

^{*1} Снеток — мелкая озерная рыба.

много пьет — и тоже какую-то несусветную дрянь: мадеру, которую купцы «заправляли беспощадно ромом, а иной раз вливали туда и царской водки», какой-то «бургоньон и шампаньон вместе», рябиновку, в которой «слышна была сивушища во всей своей силе».

Наконец, Плюшкин — единственная в «Мертвых душах» не комическая, а трагическая фигура, чью историю трансформации рассказывает нам автор, тем самым неизбежно вызывая сочувствие, — не ест и не пьет совсем. Его угощение — тщательно сберегаемый сухарь из пасхального кулича, привезенного дочерью, — довольно прозрачная метафора будущего воскресения. В «Выбранных местах» Гоголь писал: «Воззови... к прекрасному, но дремлющему человеку... чтобы спасал свою бедную душу... нечувствительно облекается он плотью и стал уже весь плоть, и уже почти нет в нём души. <...> О, если б ты мог сказать ему то, что должен сказать мой Плюшкин, если доберусь до третьего тома “Мертвых душ”!»

Описать это возрождение Гоголю уже не пришлось: есть трагический парадокс в том, что в последние дни Гоголь жестоко постился, как считается, уморив себя голодом, отрекшись от еды и от смеха, — то есть сам обернувшись Плюшкиным в каком-то духовном смысле.

ПОЧЕМУ ГОГОЛЬ РЕШИЛ СДЕЛАТЬ СВОЕГО ГЕРОЯ ПОДЛЕЦОМ?

Сам автор мотивировал свой выбор так: «Обратили в рабочую лошадь добродетельного человека, и нет писателя, который бы не ездил на нем, понукая и кнутом и всем,

чем попало... изморили добродетельного человека до того, что теперь нет на нем и тени добродетели, и остались только ребра да кожа вместо тела... лицемерно призывают добродетельного человека... не уважают добродетельного человека. Нет, пора наконец припрячь и подлеца».

Однако за Чичиковым никаких особенных подлостей не значится, от его афер едва ли кто-то пострадал (разве что косвенно — прокурор умер от испуга). Набоков называет его «пошляком гигантского калибра», отмечая при этом: «Пытаясь покупать мертвецов в стране, где законно покупали и закладывали живых людей, Чичиков едва ли серьезно грешил с точки зрения морали».

При всей карикатурной пошлости Чичикова, он ведь и есть тот русский, который любит быструю езду, в апологетическом пассаже о тройке. Именно ему предстояло пройти горнило испытаний и духовно возродиться в третьем томе.

Предпосылка для такого возрождения — единственное свойство, отличающее Чичикова от всех прочих героев «Мертвых душ»: он деятелен. Житейские неудачи не гасят в нем энергии, «деятельность никак не умирала в голове его; там все хотело что-то строиться и ждало только плана». В этом отношении он тот самый русский человек, которого «пошли... хоть в Камчатку да дай только теплые рукавицы, он похлопает руками, топор в руки, и пошел рубить себе новую избу».

Конечно, деятельность его покуда только приобретательская, а не созидательная, в чем автор видит его главный порок. Тем не менее именно и только энергия Чичикова движет действие с места — от движения его птицы-тройки

«все летит: летят версты, летят навстречу купцы на облучках своих кибиток, летит с обеих сторон лес с темными строями елей и сосен», вся Русь несется куда-то.

Об энергичном, деятельном русском герое мечтали все русские классики, но, похоже, не слишком верили в его существование. Русская лень-матушка, которая раньше нас родилась, воспринималась ими как источник всех зол и скорбей — но в то же время как основа национального характера. Пример хорошего хозяина, погруженного в кипучую деятельность, Гоголь выводит во втором томе «Мертвых душ», неслучайно наделяя его труднопроизносимой и очевидно иностранной (греческой) фамилией Костанжогло: «Русской человек... не может без понукателя... Так и задремлет, так и закиснет». Следующий знаменитый делец в русской литературе, описанный Гончаровым в «Обломове», — полунемец Андрей Штольц, тогда как, несомненно, более симпатичный Обломов — прямой наследник гоголевского «увальня, лежебоки, байбака» Тентетникова, в молодости вынашивавшего планы бодрого хозяйствования, а затем осевшего в халате на диване. Сетуя на русскую лень, и Гоголь, и его последователи, похоже, не верили в возможность ее искоренения без участия деловитых иноземцев — но вопреки рассудку не могли победить в себе ощущение, что делячество — свойство бездуховное, пошловатое и подлое. Слово «подлый» в архаическом смысле значило — низкого рода (ведь и происхождение Чичикова «темно и скромно»). Наиболее выразительно сформулировал эту антитезу Илья Ильич Обломов в своей апологии лени, где себя, русского барина, противопоставляет «другому» — низкому,

необразованному человеку, которого «нужда мечет из угла в угол, он и бегаёт день-деньской» («Из немцев много этаких, — угрюмо сказал Захар»).

Эта ситуация изменилась только с приходом в литературу героев-разночинцев, которые не могли себе позволить разлеживаться. Характерно, что в знаменитой постановке «Мертвых душ» в «Гоголь-центре» в 2013 году Чичикова играл американец Один Байрон, а финальный поэтический монолог о птице-тройке заменен недоумевающим вопросом: «Русь, чего ты хочешь от меня?» Объясняя такой выбор, режиссер Кирилл Серебренников трактует конфликт «Мертвых душ» как столкновение «человека из нового мира», индустриального и рационального, с «русским заскорузлым помещным образом жизни». Задолго до Серебренникова сходную мысль высказал Абрам Терц: «Гоголь в качестве палочки-выручалочки поднес России — не Чацкого, не Лаврецкого, не Ивана Сусанина и даже не старца Зосиму, а Чичикова. Такой не выдаст! Чичиков, единственно Чичиков способен сдвинуть и вывезти воз истории, — предвидел Гоголь в то время, когда не снилось еще никакого развития капитализма в России... и вывел в дамки — мерзавца: этот не подведет!..»³²

ИЗОБРАЗИЛ ЛИ ГОГОЛЬ В «МЕРТВЫХ ДУШАХ» СЕБЯ?

В «Выбранных местах из переписки с друзьями» Гоголь описывает свое творчество как способ духовного совершенствования, род психотерапии: «Я уже от многих своих гадостей избавился тем,

что передал их своим героям, обсмеял их в них и заставил других также над ними посмеяться».

При чтении «Мертвых душ» может показаться, что автор был к себе слишком строг. Черты, которыми он наделил своих персонажей, выглядят скорее умиленно, во всяком случае именно они придают героям человечность — но нужно учитывать, что Гоголь считал слабостью всякую привычку, излишнюю привязанность к материальному миру. А слабостей такого рода у него было множество. В конце главы VII «Мертвых душ» на минуту показывается один из множества как будто совсем случайных, но невероятно живых второстепенных персонажей — рязанский поручик, «большой, по-видимому, охотник до сапогов», который заказал уже четыре пары и никак не мог лечь спать, беспрестанно примеривая пятую: «сапоги, точно, были хорошо сшиты, и долго еще поднимал он ногу и обсматривал бойко и на диво стачанный каблук». Лев Арнольди (сводный брат Александры Смирновой-Россет, коротко знавший Гоголя) уверяет в своих мемуарах, что этот страстный охотник до сапогов был сам Гоголь: «В его маленьком чемодане всего было очень немного, и платья и белья ровно столько, сколько необходимо, а сапогов было всегда три, часто даже четыре пары, и они никогда не были изношены».

Другой пример приводит (тоже из воспоминаний Арнольди) Абрам Терц: «Гоголь в молодости имел страстишку к приобретению ненужных вещей — всевозможных

чернильниц, вазочек, пресс-папье: в дальнейшем она отделилась и развилась в накопительство Чичикова, изъятая навсегда из домашнего достояния автора» (это наблюдение подтверждают многие мемуаристы: отчасти в видах самосовершенствования, отчасти по той практической причине, что Гоголь большую часть жизни проводил в дороге и все его имущество умещалось в один сундук, писатель с какого-то момента отрекся от мшелоимства^{*1} и все милые его сердцу изящные мелочи передавал друзьям).

Гоголь вообще был большим франтом с экстравагантным вкусом. В частности, «шерстяная, радужных цветов косынка» Чичикова, каких рассказчик, по его заявлению, никогда не носил, как раз была его собственная — Сергей Аксаков вспоминает, как в доме Жуковского увидел писателя за работой в поразительном наряде: «Вместо сапог длинные шерстяные русские чулки выше колен; вместо сюртука, сверх фланелевого камзола, бархатный спензер^{*2}; шея обмотана большим разноцветным шарфом, а на голове бархатный, малиновый, шитый золотом кокошник, весьма похожий на головной убор мордочек».

Привычка губернатора города N., который, как известно, был «большой добряк и даже сам вышивал иногда по тюлю», — тоже автобиографическая черта: как вспоминал Павел Анненков, Гоголь имел страсть к рукоделиям и «с приближением лета... начинал выкраивать для себя шейные платки из кисеи и батиста, подпускать

^{*1} Пристрастие к собиранию вещей, получению подарков, взяток. С точки зрения христианства — грех.

^{*2} Короткая куртка (обычно женская).

жилеты на несколько линий ниже и проч., и занимался этим делом весьма серьезно»; любил он вязать на спицах, кроил сестрам платья.

Не только себя, но и окружающих Гоголь пускал, впрочем, в дело еще до того, как при работе над «Мертвыми душами» задался целью изобразить собственные пороки в виде «чудовищ». Находя комическую деталь или положение в окружающей жизни, он доводил его до гротеска, который сделал Гоголя изобретателем русского юмора. Владимир Набоков упоминает, скажем, о матери Гоголя — «нелепой провинциальной даме, которая раздражала своих друзей утверждением, что паровозы, пароходы и прочие новшества изобретены ее сыном Николаем (а самого сына приводила в неистовство, деликатно намекая, что он сочинитель каждого только что прочитанного ею пошленького романчика)», — тут нельзя не вспомнить Хлестакова: «Моих, впрочем, много есть сочинений: «Женитьба Фигаро», «Роберт-Дьявол», «Норма». <...> Все это, что было под именем барона Брамбеуса... все это я написал» (да и «с Пушкиным на дружеской ноге» был, как известно, сам Гоголь).

Выражения вроде «заехать к Сопикову и Храповицкому, означающие всякие мертвецкие сны на боку, на спине и во всех иных положениях», резавшие ухо критиков в «Мертвых душах», Гоголь, по свидетельствам, использовал в жизни.

Главное же, наверное, что передал он Чичикову, — кочевой образ жизни и любовь к быстрой езде. Писатель признавался в письме Жуковскому: «Я тогда только и чувствовал себя хорошо, когда бывал в дороге. Дорога меня спасала всегда, когда я засиживался долго на месте

или попадал в руки докторов, по причине малодушия своего, которые всегда мне вредили, не зная ни на волос моей природы».

Приехав из Малороссии в Петербург в декабре 1828 года с намерением служить, он уже через полгода уехал за границу и с тех пор до конца жизни путешествовал почти непрерывно. При этом и в Риме, и в Париже, и в Вене, и во Франкфурте Гоголь писал исключительно о России, которая, как он полагал, видна целиком только издали (одно исключение — повесть «Рим»). Болезни вынуждали его ездить лечиться на воды в Баден-Баден, Карлсбад, Мариенбад, Остенде; в конце жизни он совершил паломничество в Иерусалим. В России у Гоголя не было собственного дома — он подолгу жил у друзей (больше всего — у Степана Шевырева и Михаила Погодина), по друзьям же довольно бесцеремонно расселил своих сестер, взяв их из института. Музей «Дом Гоголя» на Никитском бульваре в Москве — это бывший особняк графа Александра Толстого, где Гоголь прожил свои последние четыре года, сжег второй том «Мертвых душ» и умер.

ЗАЧЕМ НУЖНА В «МЕРТВЫХ ДУШАХ» ПОВЕСТЬ О КАПИТАНЕ КОПЕЙКИНЕ?

Историю об инвалиде Отечественной войны, оставленном без пропитания бездушным правительством и вынужденном податься в разбойники, в поэме рассказывает почтмейстер (склонный, как мы помним, к некоторой мечтательности) в тот момент, когда весь город гадает, кто же

таков Чичиков: «Это, господа, судырь мой, не кто другой, как капитан Копейкин!»

Повесть, сатирически направленная против высшей петербургской администрации, стала главным и единственным препятствием к публикации «Мертвых душ». Вероятно, предвидя это, Гоголь еще до передачи рукописи в цензуру сам значительно отредактировал первую редакцию повести, выбросив финал, в котором рассказывается о похождениях Копейкина, который разбойничал с целой армией из «беглых солдат» в рязанских лесах (но «все это, собственно, так сказать, устремлено на одно только казенное»; Копейкин грабил только государство, не трогая частных людей, походя тем самым на народного мстителя), а затем бежал в Америку, откуда пишет письмо государю и добивается монаршей милости для своих товарищей, чтобы его история не повторилась. Вторая редакция повести, которая считается сейчас нормативной, заканчивается только намеком, что капитан Копейкин стал атаманом шайки разбойников.

Но и в смягченной версии цензор Александр Никитенко назвал «Копейкина» «совершенно невозможным к пропуску», чем поверг писателя в отчаяние. «Это одно из лучших мест в поэме, и без него — прореха, которой я ничем не в силах заплатать и зашить, — писал Гоголь Плетневу 10 апреля 1842 года. — Я лучше решил переделать его, чем лишиться вовсе. Я выбросил весь генералитет, характер Копейкина означил сильнее, так что теперь видно ясно, что он всему причиною сам и что с ним поступили хорошо». Вместо героя, пострадавшего за отчизну и доведенного пренебрежением властей

до полного отчаяния, Копейкин теперь оказался волокитой и проходимцем с умеренными претензиями: «Я не могу, говорит, перебиваться кое-как. Мне нужно, говорит, съесть и котлетку, бутылку французского вина, поразвлечь тоже себя, в театре, понимаете».

К развитию сюжета повесть никак вроде бы не относится и выглядит в ней вставной новеллой. Однако автор так дорожил этим эпизодом, что не готов был печатать поэму без него и предпочел изувечить повесть, выбросив из нее все политически острые места, — очевидно, сатира была в «Копейкине» не главным.

По мнению Юрия Манна, одна из художественных функций повести — «перебивка «губернского» плана петербургским, столичным, включение в сюжет поэмы высших столичных сфер русской жизни»³³. Исследователь трактует Копейкина как «маленького человека», бунтующего против репрессивной и бездушной государственной машины, — трактовка эта была узаконена в советском литературоведении, однако ее блестяще опроверг Юрий Лотман, показавший, что смысл повести вообще в другом.

Отметив выбор Гоголя, который сделал своего Копейкина не солдатом, а капитаном и офицером, Лотман поясняет: «Армейский капитан — чин 9-го класса, дававший право на наследственное дворянство и, следовательно, на душевладение. Выбор такого героя на амплуа положительного персонажа натуральной школы странен для писателя со столь обостренным “чувством чина”, каким был Гоголь». В Копейкине филолог видит сниженную версию литературных «благородных разбойников»; по мнению Лотмана, именно

этот сюжет подарил Гоголю Пушкин, который был увлечен образом разбойника-дворянина, посвятил ему своего «Дубровского» и намеревался использовать в ненаписанном романе «Русский Пелам».

Пародийными чертами романтического разбойника наделен в «Мертвых душах» и сам главный герой: он врывается ночью к Коробочке, «вроде Ринальд Ринальдина», его подозревают в похищении девицы, как и Копейкин, он обманывает не частных лиц, а только казну — прямой Робин Гуд. Но Чичиков, как мы знаем, многолик, он — круглая пустота, фигура усредненная; поэтому он окружен «литературными проекциями, каждая из которых и пародийна, и серьезна» и высвечивает ту или иную важную для автора идеологию, к которой отсылают или с которой полемизируют «Мертвые души»: Собакевич вышел как будто из былины, Манилов — из сентиментализма, Плюшкин — реинкарнация скупого рыцаря. Копейкин — дань романтической, байронической традиции, которая в поэме имеет значение первостепенное; без этой «литературной проекции» было и правда не обойтись. В романтической традиции именно на стороне героя — злодея и изгоя — были симпатии автора и читателя; его демонизм — от разочарования обществом, он обаятелен на фоне пошляков, ему всегда оставлена возможность искупления и спасения (обычно под влиянием женской любви). Гоголь же подходит к вопросу нравственного возрождения с иной — не романтической, а христианской стороны. Гоголевские пародийные сравнения — Копейкин, Наполеон или Антихрист — снимают со злоореол благородства, делают его смешным, пошлым и ничтожным, то есть абсолютно

беспросветным, «и именно в его беспросветности таится возможность столь же полного и абсолютного возрождения».

ПОЧЕМУ ГОГОЛЬ СЖЕГ ВТОРОЙ ТОМ «МЕРТВЫХ ДУШ»?

Об этом мы можем, конечно, только строить догадки. Кажется, что второй том «Мертвых душ» не только стал творческой неудачей, но и был обречен на эту неудачу мессиански-амбициозным замыслом Гоголя.

Поэма была задумана как трилогия, первая часть которой должна была заставить читателя ужаснуться, показав все русские мерзости, вторая — дать надежду, а третья — показать картину возрождения. Уже 28 ноября 1836 года, в том же письме Михаилу Погодину, в котором Гоголь сообщает о работе над первым томом «Мертвых душ» — вещь, в которой «вся Русь отзовется», — он поясняет, что поэма будет «в несколько томов». Можно представить себе, какую высокую планку задал себе Гоголь, если первый и единственный опубликованный том поэмы стал со временем казаться ему малозначительным, как «приделанное губернским архитектором наскоро крыльцо к дворцу, который задуман строиться в колоссальных размерах». Пообещав себе и читателям описать ни больше ни меньше как всю Русь и дать рецепт спасения души, анонсировав «мужа, одаренного доблестями» и «чудную русскую девицу», Гоголь загнал себя в ловушку. Второго тома ждали с нетерпением, более того, Гоголь сам так часто о нем упоминал, что среди его друзей разнесся слух, будто книга уже готова. Погодин даже

анонсировал ее выход в «Москвитянине» в 1841 году, за что имел от Гоголя выговор.

А работа между тем не шла. На протяжении 1843–1845 годов писатель непрерывно жалуется в письмах Аксакову, Жуковскому, Языкову на творческий кризис, который затем еще усугубляется таинственным нездоровьем — Гоголь боится «хандры, которая может усилить еще болезненное состояние» и с грустью признает: «Я мучил себя, насиловал писать, страдал тяжким страданием, видя бессилие свое, и несколько раз уже причинял себе болезнь таким принуждением и ничего не мог сделать, и все выходило принужденно и дурно»³⁴. Гоголь стыдится вернуться на родину, как «человек, посланный за делом и возвратившийся с пустыми руками», и в 1845 году в первый раз сжигает второй том «Мертвых душ», плод пятилетних трудов. В «Выбранных местах...» в 1846-м он поясняет: «Нужно принимать в соображение не наслаждение каких-нибудь любителей искусств и литературы, но всех читателей» — а последним, по мысли писателя, принесли бы скорее вред, чем пользу, несколько ярких примеров добродетели (в противовес карикатурам из первого тома), если тут же не показать им «ясно, как день» универсальный путь нравственного совершенствования. К этому времени Гоголь считает искусство только ступенькой к проповеди.

Такой проповедью стали «Выбранные места», сильно испортившие Гоголю репутацию в либеральном стане как апология



Петр Боклевский. Собакевич. Иллюстрация к «Мертвым душам». 1895 год

крепостничества и пример церковного ханжества. Друзья-корреспонденты к моменту выхода «Выбранных мест» уже были (несмотря на настоящий культ Гоголя) раздражены его реальными письмами, в которых Гоголь читал им нотации и буквально диктовал режим дня. Сергей Аксаков писал ему: «Мне пятьдесят три года. Я тогда читал Фому Кемпийского*¹, когда вы еще не родились. <...> Я не порицаю никаких, ничьих убеждений, лишь были бы они искренни; но уже, конечно, ничьих и не приму... И вдруг вы меня сажаете, как мальчика, за чтение Фомы Кемпийского, насильно, не зная моих убеждений, да как еще? в узаконенное время, после кофею,

*¹ Фома Кемпийский (ок. 1379–1471) — писатель, католический монах. Вероятный автор анонимного богословского трактата «О подражании Христу», ставшего программным текстом духовного движения «Новое благочестие». В трактате критикуется внешнее благочестие христиан и восхваляется самоотречение как способ уподобления Христу.

и разделяя чтение главы, как на уроки... И смешно и досадно...

Вся эта душевная эволюция происходила параллельно и в связи с душевным недугом, по описанию очень похожим на то, что еще недавно называлось маниакально-депрессивным психозом, а сегодня называется биполярным расстройством. На протяжении всей жизни Гоголь страдал от перепадов настроения — периоды кипучей творческой энергии, когда писатель создавал и яркие, и необыкновенно смешные вещи и, по воспоминаниям друзей, пускался танцевать среди улицы, сменялись черными полосами. Первый такой приступ Гоголь пережил в Риме в 1840 году: «Солнце, небо — все мне неприятно. Моя бедная душа: ей здесь нет приюта. Я теперь больше гождусь для монастыря, чем для жизни светской». Уже на следующий год хандра сменяется экзотической энергией («Я глубоко счастлив, я знаю и слышу дивные минуты, создание чудное творится и совершается в душе моей») и неумеренным самомнением, характерными для состояния гипомании («О, верь словам моим. Властью высшей облечено отныне мое слово»). Еще через год в описании Гоголя узнается хроническая депрессия со свойственными ей апатией, интеллектуальным упадком и чувством изоляции: «Мною овладела моя обыкновенная (уже обыкновенная) периодическая болезнь, во время которой я остаюсь почти в недвижимом состоянии

в комнате иногда на протяжении 2-3 недель. Голова моя одеревенела. Разорваны последние узы, связывающие меня со светом».

В 1848 году Гоголь, все больше уходивший в религию, совершил паломничество в Святую землю, но это не принесло ему облегчения; вслед за тем он стал духовным чадом отца Матфея Константиновского, который призывал к свирепому аскетизму и внушал писателю мысли о греховности всего его творческого труда³⁵. Видимо, под его влиянием, усугубленным творческим кризисом и депрессией, 24 февраля 1852 года Гоголь сжег в печке почти законченный второй том «Мертвых душ». Спустя десять дней, впав в черную меланхолию, Гоголь умер, по всей видимости, уморив себя голодом под видом поста.

Текст второго тома поэмы, доступный нам сейчас, не гоголевское произведение, а реконструкция на основании автографов пяти глав, найденных после смерти Гоголя Степаном Шевыревым (и существующих в двух редакциях), отдельных отрывков и набросков. В печати второй том «Мертвых душ» впервые появился в 1855 году в виде дополнения ко второму собранию сочинений («Сочинения Николая Васильевича Гоголя, найденные после его смерти. Похождения Чичикова, или Мертвые души. Поэма Н. В. Гоголя. Том второй (5 глав). Москва. В Университетской типографии, 1855»).



Мертвые души

Том первый

Глава первая

В ворота гостиницы губернского города NN въехала довольно красивая рессорная небольшая бричка, в какой ездят холостяки: отставные подполковники, штабс-капитаны, помещики, имеющие около сотни душ крестьян, — словом, все те, которых называют господами средней руки. В бричке сидел господин, не красавец, но и не дурной наружности, ни слишком толст, ни слишком тонок; нельзя сказать, чтобы стар, однако ж и не так, чтобы слишком молод. Въезд его не произвел в городе совершенно никакого шума и не был сопровожден ничем особенным; только два русские мужика, стоявшие у дверей кабака против гостиницы, сделали кое-какие замечания, относившиеся, впрочем, более к экипажу, чем к сидевшему в нем. «Вишь ты, — сказал один другому, — вон какое колесо! что ты думаешь, доедет то колесо, если б случилось, в Москву или не доедет?» — «Доедет», — отвечал другой. «А в Казань-то, я думаю, не доедет?» — «В Казань не доедет», — отвечал другой. Этим разговор и кончился. Да еще, когда бричка подъехала к гостинице, встретился молодой человек в белых канифасовых панталонах, весьма узких и коротких, во фраке с покушеньями на моду, из-под которого видна была манишка, застегнутая тульской булавкою с бронзовым пистолетом. Молодой человек оборотился назад, посмотрел экипаж, придержал рукою картуз, чуть не слетевший от ветра, и пошел своей дорогой.

Когда экипаж въехал на двор, господин был встречен трактирным слугою, или половым, как их называют в русских трактирах, живым и вертлявым до такой степени, что даже нельзя было рассмотреть, какое у него было лицо. Он выбежал проворно, с салфеткой в руке, весь длинный и в длинном демикотонном сюртуке со спинкою чуть не на самом затылке, встряхнул волосами и повел проворно господина вверх по всей деревянной галдарее показывать ниспосланный ему Богом покой. Покой был известного рода, ибо гостиница была тоже известного рода, то есть именно такая, как бывают гостиницы в губернских городах, где за два рубля в сутки проезжающие получают покойную

комнату с тараканами, выглядывающими, как чернослив, из всех углов, и дверью в соседнее помещение, всегда заставленную комодом, где устраивается сосед, молчаливый и спокойный человек, но чрезвычайно любопытный, интересующийся знать о всех подробностях проезжающего. Наружный фасад гостиницы отвечал ее внутренности: она была очень длинна, в два этажа; нижний не был выщекатурен и оставался в темно-красных кирпичиках, еще более потемневших от лихих погодных перемен и грязноватых уже самих по себе; верхний был выкрашен вечною желтою краскою; внизу были лавочки с хомутами, веревками и баранками. В угольной из этих лавочек, или, лучше, в окне, помещался сбитенщик с самоваром из красной меди и лицом так же красным, как самовар, так что издали можно бы подумать, что на окне стояло два самовара, если б один самовар не был с черною как смоль бороною.

Пока приезжий господин осматривал свою комнату, внесены были его пожитки: прежде всего чемодан из белой кожи, несколько поистасканный, показывавший, что был не в первый раз в дороге. Чемодан внесли кучер Селифан, низенький человек в тулупчике, и лакей Петрушка, малый лет тридцати, в просторном подержанном сюртуке, как видно с барского плеча, малый немного суровый на взгляд, с очень крупными губами и носом. Вслед за чемоданом внесен был небольшой ларчик красного дерева с штучными выкладками из карельской березы, сапожные колодки и завернутая в синюю бумагу жареная курица. Когда все это было внесено, кучер Селифан отправился на конюшню возиться около лошадей, а лакей Петрушка стал устраиваться в маленькой передней, очень темной конурке, куда уже успел притащить свою шинель и вместе с нею какой-то свой собственный запах, который был сообщен и принесенному вслед за тем мешку с разным лакейским туалетом. В этой конурке он приладил к стене узенькую трехногую кровать, накрыв ее небольшим подобием тюфяка, убитым и плоским, как блин, и, может быть, так же замаслившимся, как блин, который удалось ему вытребовать у хозяина гостиницы.

Покамест слуги управлялись и возились, господин отправился в общую залу. Какие бывают эти общие залы — всякий

проезжающий знает очень хорошо: те же стены, выкрашенные масляной краской, потемневшие сверху от трубочного дыма и залосненные снизу спинами разных проезжающих, а еще более туземными купеческими, ибо купцы по торговым дням приходили сюда сам-шест и сам-сём испивать свою известную пару чаю; тот же закопченный потолок; та же копченая люстра со множеством висящих стеклышек, которые прыгали и звенели всякий раз, когда половой бегал по истертым клеенкам, помахивая бойко подносом, на котором сидела такая же бездна чайных чашек, как птиц на морском берегу; те же картины во всю стену, писанные масляными красками, — словом, все то же, что и везде; только и разницы, что на одной картине изображена была нимфа с такими огромными грудями, каких читатель, верно, никогда не видывал. Подобная игра природы, впрочем, случается на разных исторических картинах, неизвестно в какое время, откуда и кем привезенных к нам в Россию, иной раз даже нашими вельможами, любителями искусства, накупившими их в Италии по совету везших их курьеров. Господин скинул с себя картуз и размотал с шеи шерстяную, радужных цветов косынку, какую женатым приготовляет своими руками супруга, снабжая приличными наставлениями, как закутываться, а холостым — наверное не могу сказать, кто делает, Бог их знает, я никогда не носил таких косынок. Размотавши косынку, господин велел подать себе обед. Покамест ему подавались разные обычные в трактирах блюда, как-то: щи с слоеным пирожком, нарочно сберегаемым для проезжающих в течение нескольких недель, мозги с горошком, сосиски с капустой, пулярка жареная, огурец соленый и вечный слоеный сладкий пирожок, всегда готовый к услугам; покамест ему все это подавалось и разогретое, и просто холодное, он заставил слугу, или полового, рассказывать всякий вздор — о том, кто содержал прежде трактир и кто теперь, и много ли дает дохода, и большой ли подлец их хозяин; на что половой, по обыкновению, отвечал: «О, большой, сударь, мошенник». Как в просвещенной Европе, так и в просвещенной России есть теперь весьма много почтенных людей, которые без того не могут покушать в трактире, чтоб не поговорить с слугою, а иногда даже забавно пошутить над ним. Впрочем, приезжий делал не всё пустые вопросы;

он с чрезвычайною точностию расспросил, кто в городе губернатор, кто председатель палаты, кто прокурор, — словом, не пропустил ни одного значительного чиновника; но еще с большею точностию, если даже не с участием, расспросил обо всех значительных помещиках: сколько кто имеет душ крестьян, как далеко живет от города, какого даже характера и как часто приезжает в город; расспросил внимательно о состоянии края: не было ли каких болезней в их губернии — повальных горячек, убийственных каких-либо лихорадок, оспы и тому подобного, и все так обстоятельно и с такою точностию, которая показывала более, чем одно простое любопытство. В приемах своих господин имел что-то солидное и высмаркивался чрезвычайно громко. Неизвестно, как он это делал, но только нос его звучал, как труба. Это, по-видимому, совершенно невинное достоинство приобрело, однако ж, ему много уважения со стороны трактирного слуги, так что он всякий раз, когда слышал этот звук, встряхивал волосами, выпрямлялся почтительнее и, нагнувши с вышины свою голову, спрашивал: не нужно ли чего? После обеда господин выкушал чашку кофею и сел на диван, подложивши себе за спину подушку, которую в русских трактирах вместо эластической шерсти набивают чем-то чрезвычайно похожим на кирпич и булыжник. Тут начал он зевать и приказал отвести себя в свой номер, где, прилегши, заснул два часа. Отдохнувши, он написал на лоскутке бумажки, по просьбе трактирного слуги, чин, имя и фамилию для сообщения куда следует, в полицию. На бумажке половой, спускаясь с лестницы, прочитал по складам следующее: «Коллежский советник Павел Иванович Чичиков, помещик, по своим надобностям». Когда половой все еще разбирал по складам записку, сам Павел Иванович Чичиков отправился посмотреть город, которым был, как казалось, удовлетворен, ибо нашел, что город никак не уступал другим губернским городам: сильно била в глаза желтая краска на каменных домах и скромно темнела серая на деревянных. Дома были в один, два и полтора этажа, с вечным мезонином, очень красивым, по мнению губернских архитекторов. Местами эти дома казались затерянными среди широкой, как поле, улицы и нескончаемых деревянных заборов; местами сбивались в кучу, и здесь было заметно

более движения народа и живости. Попадались почти смытые дождем вывески с кренделями и сапогами, кое-где с нарисованными синими брюками и подписью какого-то Аршавского портного; где магазин с картузами, фуражками и надписью: «Иностранец Василий Федоров»; где нарисован был бильярд с двумя игроками во фраках, в какие одеваются у нас на театрах гости, входящие в последнем акте на сцену. Игроки были изображены с прицелившимися киями, несколько вывороченными назад руками и косыми ногами, только что сделавшими на воздухе антраша. Под всем этим было написано: «И вот заведение». Кое-где просто на улице стояли столы с орехами, мылом и пряниками, похожими на мыло; где харчевня с нарисованною толстою рыбою и воткнутою в нее вилкою. Чаще же всего заметно было потемневших двуглавых государственных орлов, которые теперь уже заменены лаконическою надписью: «Питейный дом». Мостовая везде была плоховата. Он заглянул и в городской сад, который состоял из тоненьких деревьев, дурно принявшихся, с подпорками внизу, в виде треугольников, очень красиво выкрашенных зеленою масляною краскою. Впрочем, хотя эти деревца были не выше тростника, о них было сказано в газетах при описании иллюминации, что «город наш украсился, благодаря попечению гражданского правителя, садом, состоящим из тенистых, широковетвистых деревьев, дающих прохладу в знойный день», и что при этом «было очень умирительно глядеть, как сердца граждан трепетали в избытке благодарности и струили потоки слез в знак признательности к господину градоначальнику». Расспросивши подробно будочника, куда можно пройти ближе, если понадобится, к собору, к присутственным местам, к губернатору, он отправился взглянуть на реку, протекавшую посредине города, дорогою оторвал прибитую к столбу афишу, с тем чтобы, пришедши домой, прочитав ее хорошенько, посмотрел пристально на проходившую по деревянному тротуару даму недурной наружности, за которой следовал мальчик в военной ливрее, с узелком в руке, и, еще раз окинувши все глазами, как бы с тем, чтобы хорошо припомнить положение места, отправился домой прямо в свой номер, поддерживаемый слегка на лестнице трактирным слугою. Накушавшись чаю, он уселся перед столом, велел подать себе

свечу, вынул из кармана афишу, поднес ее к свече и стал читать, прищуря немного правый глаз. Впрочем, замечательного немного было в афишке: давалась драма г. Коцебу, в которой Ролла играл г. Поплёвин, Кору — девица Зяблова, прочие лица были и того менее замечательны; однако же он прочел их всех, добрался даже до цены партера и узнал, что афиша была напечатана в типографии губернского правления, потом перевернул на другую сторону: узнать, нет ли там чего-нибудь, но, не нашедши ничего, протер глаза, свернул опрятно и положил в свой ларчик, куда имел обыкновение складывать все, что ни попадалось. День, кажется, был заключен порцией холодной телятины, бутылкою кислых щей и крепким сном во всю насосную завертку, как выражаются в иных местах обширного русского государства.

Весь следующий день посвящен был визитам; приезжий отправился делать визиты всем городским сановникам. Был с почтением у губернатора, который, как оказалось, подобно Чичикову, был ни толст, ни тонок собой, имел на шее Анну, и поговаривали даже, что был представлен к звезде^{*1}; впрочем, был большой добряк и даже сам вышивал иногда по тюлю. Потом отправился к вице-губернатору, потом был у прокурора, у председателя палаты, у полицеймейстера, у откупщика, у начальника над казенными фабриками... жаль, что несколько трудно упомянуть всех сильных мира сего; но довольно сказать, что приезжий оказал необыкновенную деятельность насчет визитов: он явился даже засвидетельствовать почтение инспектору врачебной управы и городскому архитектору. И потом еще долго сидел в бричке, придумывая, кому бы еще отдать визит, да уж больше в городе не нашлось чиновников. В разговорах с сими властями он очень искусно умел польстить каждому. Губернатору намекнул как-то вскользь, что в его губернию въезжаешь, как в рай, дороги везде бархатные, и что те правительства, которые назначают мудрых сановников, достойны большой похвалы. Полицеймейстеру сказал что-то очень лестное насчет городских бюджетчиков; а в разговорах с вице-губернатором и председателем палаты, которые были еще только статские советники, сказал

^{*1} Звезда — императорский и царский орден Святого Станислава.

даже ошибкою два раза: «ваше превосходительство», что очень им понравилось. Следствием этого было то, что губернатор сделал ему приглашение пожаловать к нему того же дня на домашнюю вечеринку, прочие чиновники тоже, с своей стороны, кто на обед, кто на бостончик, кто на чашку чаю.

О себе приезжий, как казалось, избегал много говорить; если же говорил, то какими-то общими местами, с заметною скромностию, и разговор его в таких случаях принимал несколько книжные обороты: что он не значащий червь мира сего и не достоин того, чтобы много о нем заботились, что испытал много на веку своем, претерпел на службе за правду, имел много неприятелей, покушавшихся даже на жизнь его, и что теперь, желая успокоиться, ищет избрать наконец место для жительства, и что, прибывши в этот город, почел за неперемный долг засвидетельствовать свое почтение первым его сановникам. Вот все, что узнали в городе об этом новом лице, которое очень скоро не преминуло показать себя на губернаторской вечеринке. Приготовление к этой вечеринке заняло с лишком два часа времени, и здесь в приезжем оказалась такая внимательность к туалету, какой даже не везде видывано. После небольшого послеобеденного сна он приказал подать умыться и чрезвычайно долго тер мылом обе щеки, подперши их изнутри языком; потом, взявши с плеча трактирного слуги полотенце, вытер им со всех сторон полное свое лицо, начав из-за ушей и фыркнув прежде раза два в самое лицо трактирного слуги. Потом надел перед зеркалом манишку, выщипнул вылезшие из носу два волоска и непосредственно за тем очутился во фраке брусничного цвета с искрой. Таким образом одевшись, покатился он в собственном экипаже по бесконечно широким улицам, озаренным тощим освещением из кое-где мелькавших окон. Впрочем, губернаторский дом был так освещен, хоть бы и для бала; коляска с фонарями, перед подъездом два жандарма, фореиторские крики вдали — словом, всё как нужно. Вошедши в зал, Чичиков должен был на минуту зажмурить глаза, потому что блеск от свечей, ламп и дамских платьев был страшный. Все было залито светом. Черные фраки мелькали и носились врознь и кучами там и там, как носятся мухи на белом сияющем рафинаде в пору жаркого июльского

лета, когда старая ключница рубит и делит его на сверкающие обломки перед открытым окном; дети все глядят, собравшись вокруг, следя любопытно за движениями жестких рук ее, поднимающих молот, а воздушные эскадроны мух, поднятые легким воздухом, влетают смело, как полные хозяева, и, пользуясь подслеповатостью старухи и солнцем, беспокоящим глаза ее, обсыпают лакомые куски где вразбитную, где густыми кучами. Насыщенные богатым летом, и без того на всяком шагу расставляющим лакомые блюда, они влетели вовсе не с тем, чтобы есть, но чтобы только показать себя, пройтись взад и вперед по сахарной куче, потереть одна о другую задние или передние ножки, или почесать ими у себя под крылышками, или, протянув обе передние лапки, потереть ими у себя над головою, повернуться и опять улететь, и опять прилететь с новыми докучными эскадронами. Не успел Чичиков осмотреться, как уже был схвачен под руку губернатором, который представил его тут же губернаторше. Приезжий гость и тут не уронил себя: он сказал какой-то комплимент, весьма приличный для человека средних лет, имеющего чин не слишком большой и не слишком малый. Когда установившиеся пары танцующих притиснули всех к стене, он, заложивши руки назад, глядел на них минуты две очень внимательно. Многие дамы были хорошо одеты и по моде, другие оделись во что Бог послал в губернский город. Мужчины здесь, как и везде, были двух родов: одни тоненькие, которые всё увивались около дам; некоторые из них были такого рода, что с трудом можно было отличить их от петербургских, имели так же весьма обдуманно и со вкусом зачесанные бакенбарды или просто благовидные, весьма гладко выбритые овалы лиц, так же небрежно подседали к дамам, так же говорили по-французски и смешили дам так же, как и в Петербурге. Другой род мужчин составляли толстые или такие же, как Чичиков, то есть не так чтобы слишком толстые, однако ж и не тонкие. Эти, напротив того, косились и пяtilись от дам и посматривали только по сторонам, не составляя ли где губернаторский слуга зеленого стола для виста. Лица у них были полные и круглые, на иных даже были бородавки, кое-кто был и рябоват, волос они на голове не носили ни хохлами, ни буклями, ни на манер «черт меня побери», как

говорят французы, — волосы у них были или низко подстрижены, или прилизаны, а черты лица больше закругленные и крепкие. Это были почетные чиновники в городе. Увы! толстые умеют лучше на этом свете обделывать дела свои, нежели тоненькие. Тоненькие служат больше по особенным поручениям или только числятся и виляют туда и сюда; их существование как-то слишком легко, воздушно и совсем ненадежно. Толстые же никогда не занимают косвенных мест, а всё прямые, и уж если сядут где, то сядут надежно и крепко, так что скорей место затрещит и угнется под ними, а уж они не слетят. Наружного блеска они не любят; на них фрак не так ловко скроен, как у тоненьких, зато в шкатулках благодать Божия. У тоненького в три года не остается ни одной души, не заложенной в ломбард; у толстого спокойно, глядь — и явился где-нибудь в конце города дом, купленный на имя жены, потом в другом конце другой дом, потом близ города деревенька, потом и село со всеми угодьями. Наконец толстый, послуживши Богу и государю, заслуживши всеобщее уважение, оставляет службу, перебирается и делается помещиком, славным русским барином, хлебосолом, и живет, и хорошо живет. А после него опять тоненькие наследники спускают, по русскому обычаю, на курьерских все отцовское добро. Нельзя утаить, что почти такого рода размышления занимали Чичикова в то время, когда он рассматривал общество, и следствием этого было то, что он наконец присоединился к толстым, где встретил почти всё знакомые лица: прокурора с весьма черными густыми бровями и несколько подмигивавшим левым глазом так, как будто бы говорил: «Пойдем, брат, в другую комнату, там я тебе что-то скажу», — человека, впрочем, серьезного и молчаливого; почтмейстера, низенького человека, но остряка и философа; председателя палаты, весьма рассудительного и любезного человека, — которые все приветствовали его, как старинного знакомого, на что Чичиков раскланивался несколько набок, впрочем, не без приятности. Тут же познакомился он с весьма обходительным и учтивым помещиком Маниловым и несколько неуклюжим на взгляд Собакевичем, который с первого раза ему наступил на ногу, сказавши: «Прошу прощения». Тут же ему всунули карту на вист, которую он принял с таким же вежливым поклоном. Они сели за зеленый

стол и не вставали уже до ужина. Все разговоры совершенно прекратились, как случается всегда, когда наконец предаются занятию дельному. Хотя почтмейстер был очень речист, но и тот, взявши в руки карты, тот же час выразил на лице своем мыслящую физиономию, покрыл нижнею губою верхнюю и сохранил такое положение во все время игры. Выходя с фигуры, он ударял по столу крепко рукою, приговаривая, если была дама: «Пошла, старая попадья!», если же король: «Пошел, тамбовский мужик!». А председатель приговаривал: «А я его по усам! А я ее по усам!» Иногда при ударе карт по столу вырывались выражения: «А! была не была, не с чего, так с бубен!» Или же просто восклицания: «черви! червоточина! пикенция!» или: «пикендрас! пичуру-щух! пичура!» и даже просто: «пичук!» — названия, которыми перекрестили они масти в своем обществе. По окончании игры спорили, как водится, довольно громко. Приезжий наш гость также спорил, но как-то чрезвычайно искусно, так что все видели, что он спорил, а между тем приятно спорил. Никогда он не говорил: «вы пошли», но: «вы изволили пойти», «я имел честь покрыть вашу двойку» и тому подобное. Чтобы еще более согласить в чем-нибудь своих противников, он всякий раз подносил им всем свою серебряную с финифтью табакерку, на дне которой заметили две фиалки, положенные туда для запаха. Внимание приезжего особенно заняли помещики Манилов и Собакевич, о которых было упомянуто выше. Он тотчас же осведомился о них, отозвавши тут же несколько в сторону председателя и почтмейстера. Несколько вопросов, им сделанных, показали в госте не только любознательность, но и основательность; ибо прежде всего расспросил он, сколько у каждого из них душ крестьян и в каком положении находятся их имения, а потом уже осведомился, как имя и отчество. В немного времени он совершенно успел очаровать их. Помещик Манилов, еще вовсе человек не пожилой, имевший глаза сладкие, как сахар, и щуривший их всякий раз, когда смеялся, был от него без памяти. Он очень долго жал ему руку и просил убедительно сделать ему честь своим приездом в деревню, к которой, по его словам, было только пятнадцать верст от городской заставы. На что Чичиков с весьма вежливым наклоном головы и искренним пожатием руки

отвечал, что он не только с большою охотою готов это исполнить, но даже почтет за священнейший долг. Собакевич тоже сказал несколько лаконически: «И ко мне прошу», — шаркнувши ногою, обутою в сапог такого исполинского размера, которому вряд ли где можно найти отвечающую ногу, особливо в нынешнее время, когда и на Руси начинают выводиться богатыри.

На другой день Чичиков отправился на обед и вечер к полицеймейстеру, где с трех часов после обеда засели в вист и играли до двух часов ночи. Там, между прочим, он познакомился с помещиком Ноздревым, человеком лет тридцати, разбитным малым, который ему после трех-четырех слов начал говорить «ты». С полицеймейстером и прокурором Ноздрев тоже был на «ты» и обращался по-дружески; но, когда сели играть в большую игру, полицеймейстер и прокурор чрезвычайно внимательно рассматривали его взятки и следили почти за всякою картою, с которой он ходил. На другой день Чичиков провел вечер у председателя палаты, который принимал гостей своих в халате, несколько замасленном, и в том числе двух каких-то дам. Потом был на вечере у вице-губернатора, на большом обеде у откупщика, на небольшом обеде у прокурора, который, впрочем, стоил большого; на закуске после обедни, данной городским главою, которая тоже стоила обеда. Словом, ни одного часа не приходилось ему оставаться дома, и в гостиницу приезжал он с тем только, чтобы заснуть. Приезжий во всем как-то умел найтись и показал в себе опытного светского человека. О чем бы разговор ни был, он всегда умел поддержать его: шла ли речь о лошадином заводе, он говорил и о лошадином заводе; говорили ли о хороших собаках, и здесь он сообщал очень дельные замечания; трактовали ли касательно следствия, произведенного казенною палатою, — он показал, что ему небезызвестны и судейские проделки; было ли рассуждение о бильярдной игре — и в бильярдной игре не давал он промаха; говорили ли о добродетели, и о добродетели рассуждал он очень хорошо, даже со слезами на глазах; об выделке горячего вина, и в горячем вине знал он прок; о таможенных надсмотрщиках и чиновниках, и о них он судил так, как будто бы сам был и чиновником и надсмотрщиком. Но замечательно, что он все это умел облекать какою-то степенностью, умел хорошо держать

себя. Говорил ни громко, ни тихо, а совершенно так, как следует. Словом, куда ни повороти, был очень порядочный человек. Все чиновники были довольны приездом нового лица. Губернатор об нем изъяснился, что он благонамеренный человек; прокурор — что он дельный человек; жандармский полковник говорил, что он ученый человек; председатель палаты — что он знающий и почтенный человек; полицеймейстер — что он почтенный и любезный человек; жена полицеймейстера — что он любезнейший и обходительнейший человек. Даже сам Собакевич, который редко отзывался о ком-нибудь с хорошей стороны, приехавши довольно поздно из города и уже совершенно раздевшись и легши на кровать возле худошавой жены своей, сказал ей: «Я, душенька, был у губернатора на вечере, и у полицеймейстера обедал, и познакомился с коллежским советником Павлом Ивановичем Чичиковым: преприятный человек!» На что супруга отвечала: «Гм!» — и толкнула его ногою.

Такое мнение, весьма лестное для гостя, составилось о нем в городе, и оно держалось до тех пор, покамест одно странное свойство гостя и предприятие, или, как говорят в провинциях, пассаж, о котором читатель скоро узнает, не привело в совершенное недоумение почти всего города.

Глава вторая

Уже более недели приезжий господин жил в городе, разъезжая по вечеринкам и обедам и таким образом проводя, как говорится, очень приятно время. Наконец он решился перенести свои визиты за город и навестить помещиков Манилова и Собакевича, которым дал слово. Может быть, к сему побудила его другая, более существенная причина, дело более серьезное, близшее к сердцу... Но обо всем этом читатель узнает постепенно и в свое время, если только будет иметь терпение прочесть предлагаемую повесть, очень длинную, имеющую после раздвинуться шире и просторнее по мере приближения к концу, венчающему дело. Кучеру Селифану отдано было приказание рано поутру